

О. Михайлов

## «Настоящий художник, громадный талант...» (О Куприне. 1870–1938)

В Ясной Поляне у Толстого гостил Репин — маленький, быстрый, рыжеватый, с седеющей эспаньолкой.

Вечером, когда в зале к чаю с фруктами собрались близкие — хозяйка, стройная, полная, с черными глазами Софья Андреевна, сын Сергей Львович, Татьяна Андреевна Кузминская и секретарь Толстого Гусев, молчаливый молодой человек в пенсне и с зачесанными назад длинными волосами, — Репин попросил Льва Николаевича что-либо почитать вслух. Тот размышлял недолго:

— Конечно, Куприна... Два небольших рассказа — «Ночная смена» и «Allez!»...

Читал Толстой бесподобно. Просто, без намека на театральность и даже словно без выражения. Ничего не подчеркивая в «Ночной смене», ничего не выделяя, он как бы давал тем самым писателю возможность самому поведать о недавнем крестьянине и рядовом Луке Меркулове, которого неодолимо тянет в деревню и которому по ночам снятся родной дом, поле, река и весь усеянный «гречкой» мерин. Оставленный дом представляется чуть ли не раем, потому что в солдатах ему хоть пропадай: «Кормят его впроголодь, наряжают не в очередь дневалить, взводный его ругает,— иной раз и кулаком ткнет в зубы, — ученье тяжелое, трудное...»

Кончив читать «Ночную смену», Толстой указал на некоторые места, которые ему особенно понравились, прибавив:

— Ни у кого вы ничего подобного не встретите. Я был в военной службе, вы не были, — обратился он к Репину, — женщины совсем ее не знают, но все чувствуют, что это правда...

Репин живо отозвался:

— Еще бы! Куприн — бывший офицер, ему и карты в руки.

— Да, он хорошо знает все, о чем пишет, — согласился Толстой. — Мы тут несколько вечеров подряд читали вслух его «Поединок». Очень хорошо, только где пускается в философию — неинтересно.

— Превосходный рассказ, — сказал Репин. — Но одни отрицательные типы выведены.

— Полковой командир — прекрасный положительный тип, — возразил Толстой. — И какая смелость! Как только цензура пропустила и как не протестуют военные! Пишет, что молодой офицер мечтает о том, чтобы, во-первых, метить вверх, если придется стрелять в народ, во-вторых, пойти шпионом-шарманщиком в Германию, в-третьих, отличиться на войне. Он в слабого Ромашова вложил свои чувства...

Затем Толстой начал читать «Allez!» — трогательный рассказ о маленькой цирковой наезднице. Но когда дошел до сцены самоубийства, его старческий, слегка альтерный голос задрожал. Толстой отложил книжку в мягком переплете, вынул из кармана серой бумажной блузы фуляровый платок и поднес к глазам. Рассказ «Allez!» так и не был дочитан.

Успокоившись, Толстой сказал:

— В искусстве главное — чувство меры. В живописи после девяти верных штрихов один фальшивый портит все. Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего. Куприн — настоящий художник, громадный талант...

В обширном литературном наследии Куприна то оригинальное, что принес с собой писатель, по мнению современников, лежит на поверхности. «Его всегда спасает инстинкт природного здорового дарования... Неисправимый органический оптимист», «Особенное жизнерадостное здоровье, физиологическое равновесие очень трезвого и очень одарен-

ного человека, который любит жизнь и умеет находиться с ней в дружеских отношениях...» — такие характеристики современной Куприну критики, бесспорно, имели под собой немалые основания. Симпатии Куприна на стороне не испорченных цивилизацией людей, живущих среди величественной и «дикой» природы. Таковы полесские старожилы — трогательный «лесной человек» Талимон («Лесная глушь») и обладающий неистощимым запасом полесских легенд охотник Трофим Щербатый («Серебряный волк», «На глухарей»). Такова же «колдунья» Олеся, давшая урок нравственной красоты и благородства городскому «паньчу» («Олеся»). В этой повести воплощена одна из центральных тем литературы двадцатого века: естественное стремление современного человека быть ближе к природе, ее живительным сокам — и полная невозможность в условиях своекорыстного мира осуществления такой идиллии.

Через все творчество Куприна проходит гимн природе, «натуральной» красоте и естественности. Отсюда его тяга к цельным, простым и сильным натурам. Борец Арбузов, спокойный и добрый гигант («В цирке»); бесстрашный конокрад Бузыга («Конокрады»); отважный атаман рыбацкого баркаса Коля Констанди, «настоящий соленый грек, отличный моряк и большой пьяница» («Листригоны»); тяжеловесный и могучий «балагула», ящик и контрабандист Мойше Файбиш («Трус») — писатель откровенно любит этими отважными людьми, как любит он серебристо-стальным красавцем, четырехлетним жеребцом Изумрудом, у которого ноги и тело «безупречные, совершенных форм» («Изумруд»), или прекрасной рыжекудрой Суламифью, «высокой и стройной, в сильном расцвете тринадцати лет» («Суламифь»).

Этот культ физической красоты становится для Куприна средством обличения той недостойной действительности, в которой красота гибнет. Умирает после состязания атлет Арбузов, само совершенство телесной гармонии. Отравлен замечательный рысак Изумруд. Унижена и сломлена красавица Щербачева, до полусмерти избитая извергом мужем («Мирное житие»). И все же, несмотря на обилие драматических ситуаций, в купринских произведениях бьют ключом жизненные соки, преобладают радостные, оптимистические тона. Куприн радуется бытию детски непосредственно, словно чувствуя себя как некогда кадетом на каникулах.

Таким же жизнелюбцем, как и в творчестве, предстает и в своей личной жизни этот крепкий, приземистый человек со сломанным в боксе носом, узенькими зоркими серосиними глазками на татарском лице, которое кажется не таким круглым из-за небольшой каштановой бородки. Современники шутили, что в Куприне было что-то от «большого зверя». Мамин-Сибиряк говорил: «А вот Куприн. Почему он большой писатель? Да потому что он живой. Живой он, в каждой мелочи живой. У него один маленький штришок — и готово: вот он весь тут, Иван Иванович... Кстати, он, знаете, имеет привычку настоящим образом, по-собачьи, обнюхивать людей. Многие, в особенности дамы, обижаются. Господь с ними, если Куприну это нужно». Ему вторила писательница Тэффи: «Вы обратите внимание, как он всегда принюхивается к людям! Потянет носом, и конец — знает, что это за человек».

Читая Куприна, и впрямь ощущаешь его необычное, прямо-таки «звериное» обоняние. Так, в автобиографическом романе «Юнкера» юный выпускник кадетского корпуса Александров слышит, как по-разному пахнут «сильные, полумужские, тела» кадетов на физическом осмотре: «Они пахнули по-разному: то сургучом, то мышатиной, то пороховой гарью, то увядающим нарциссом». В рассказе «В цирке» борец Арбузов чувствует, как в цирковых коридорах пахнет «конюшной, газом, тырсой, которой посыпают арену, и обыкновенным запахом зрительных зал — смешанным запахом новых лайковых перчаток и пудры». Куприн слышит запах тела девушки, «тот радостный, пьяный запах распускающихся тополевых почек и молодых побегов черной смородины, которыми они пахнут в ясные, но мокрые весенние вечера». Аромат белых акаций таков, что «их сладкий приторный запах чувствуется на губах и во рту» («Белая акация»).

От природы Куприн имел необыкновенное зрение, тонкий слух и редкостную чуткость к запахам.

В молодости необычайно сильный физически, Куприн с особой страстью отдается всему, что связано с испытанием крепости собственных мускулов, воли, что сопряжено с азартом и риском. Он словно стремится растратить запас не израсходованных в пору его бедного детства жизненных сил. Организует в Киеве атлетическое общество. Сорока трех лет вдруг начинает учиться стильному плаванию у мирового рекордсмена Л. Романенко. Вместе с известным спортсменом Сергеем Уточкиным поднимается на воздушном шаре. Опускается в водолазном костюме на морское дно. Летит с борцом Иваном Заикиным на самолете «фарман» и попадает в авиационную катастрофу.

Время от времени Куприн замыкался для работы в своем зеленом домике в Гатчине, либо его друг литературный критик Ф. Батюшков приглашал его к себе в имение Даниловское, или сам писатель «спасался» от петербургских друзей в любимой Балаклаве... Он уходил в чистый и честный мир простых людей, к друзьям — борцам Ивану Поддубному и Ивану Заикину, спортсмену Уточкину, знаменитому дрессировщику Анатолию Дурову, клоуну Жакомино, рыбаку Коле Констанди.

Но есть что-то лихорадочное в поспешной смене всех его увлечений. Есть что-то напряженное в этом стремительном растрачивании сил и нервов в спорте, так же, как и в кутежах, которым он отдается с той же широтой и беззаботностью. Словно в Куприне жило два человека, мало друг на друга похожих, а современники, поддавшись впечатлению одной, наиболее явной стороны его личности, оставили о нем неполную истину. Лишь наиболее близкие писателю люди, вроде Батюшкова, сумели разглядеть, что «в нем была какая-то трещина, что-то наболевшее, давнее, накопившееся в результате разных превратностей в жизни».

Если же мы обратимся к творчеству Куприна, то здесь бросается в глаза знаменательное противоречие: те сильные, здоровые жизнелюбцы, к которым как будто бы был так близок писатель по характеру своей личности, в его произведениях оттеснены на задний план, преимущественное же внимание уделено героям, имеющим с ним мало общего. Вот они перед нами — персонажи, которым Куприн доверяет все свои самые заветные мысли, сокровенные мечты, потаенные радости и страдания: подпоручик Козловский, чувствительный, сотрясающийся от рыданий, «точно плачущая женщина», при виде истязуемого солдата-татарина («Дознание»); инженер Бобров, наделенный «нежной, почти женственной натурой» («Молох»); «стыдливый... очень чувствительный» Лапшин («Прапорщик армейский»); «добрый», но «слабый» Иван Тимофеевич («Олеся»); «чистый», «милый», но «слабый» и даже «жалкий» подпоручик Ромашов («Поединок»).

Где уж тут «неисправимый оптимизм», «неистребимый дикарь», «особенное жизнерадостное здоровье»!

В каждом из этих героев повторяются сходные черты: душевная чистота, мечтательность, человеколюбие, пылкое воображение, соединенное с полнейшей непрактичностью и безволием. Но, пожалуй, яснее всего раскрываются они, освещенные любовным чувством. Все они относятся к женщине с чистотой и благоговением. «Я обожал ее, но никогда не смел и словом заикнуться о своем чувстве. Это казалось мне святотатством», — признается герой рассказа «Святая любовь», боготворивший содержанку слюнявого старца, которого он по простоте душевной принимал за «доброего дядюшку». И в очарованном прекрасной Розой уродце Столетнике, расцветающем единожды в целый век и одиноко гибнущем, легко узнается все тот же самоотверженно-жалкий характер («Столетник»).

Устами армейского философа Назанского («Поединок»), в одном из его бурных монологов Куприн прямо идеализирует безнадежное платоническое чувство: «...сколько разнообразного счастья и очаровательных мучений заключается в... безнадежной любви! Когда я был помоложе, во мне жила одна греза: влюбиться в недосыгаемую, необычно-

венную женщину, такую, знаете ли, с которой у меня никогда и ничего не может быть общего. Влюбиться, и всю жизнь, все мысли посвятить ей». Не так ли и сам Куприн, уже в старости, в эмиграции, в течение ряда лет 13 января — в канун старого русского Нового года — уходил в маленькое «бистро» и там один, сидя за бутылкой вина, писал нежно и почтительно любовное письмо к женщине, которую очень мало знал, но которую любил скрытой любовью. Потребность в идеальном, очищенном от всего житейского романтическом чувстве жила в нем до конца дней.

Любовь до самоуничтожения и — даже — до самоуничтожения, готовность погибнуть во имя любимой женщины — тема эта, затронутая неуверенной рукой в раннем рассказе «Странный случай», расцветает в волнующем, мастерски написанном «Гранатовом браслете». Стремясь воспеть красоту высокого, но заведомо безответного чувства, на которое «способен, быть может, один из тысячи», Куприн, однако, наделяет этим чувством крошечного чиновника Желткова. Его любовь к княгине Вере Шеиной безответна, а сама история, рассказанная Куприным, приобретает отсвет мелодрамы. Пусть так, но она продолжает волновать сотни тысяч людей, и сегодня оплакивающих невыдуманными слезами желтковскую судьбу. Недаром произведения Куприна привлекают мировой кинематограф: от созданного по мотивам «Олеси» французского фильма «Колдунья» до наших «Поединка» и «Гранатового браслета».

Романтическое поклонение женщине, рыцарское служение ей в произведениях Куприна противостояли циничному глумлению над чувством, живописанию разврата, который, под видом освобождения от мещанских условностей, проповедовали в 1910-е годы Арцыбашев и Ан. Каменский. Но в целомудрии купринских героев есть что-то надрывное. Недооценка себя, неверие в свое право на обладание любимой, желание замкнуться, уйти в себя — эти черты дорисовывают купринского героя с чуткой и ранимой душой, попавшего в жестокий мир. Своей хрупкостью, способностью болезненно остро переживать любую несправедливость, тонкостью душевной организации он напоминает нам не жизнерадостного, грубовато-здорового «взрослого» Куприна в традиционном описании современников, а чуткого к страданиям, мечтательного Куприна-ребенка, заточенного в мрачные казарменные стены сиротского училища и кадетского корпуса.

Пройдя еще в детстве через ряд разнообразных жизненных испытаний, принужденный приспособиться к жестокой среде, Куприн сберег в душе неспособность причинить боль, сохранил в чистоте бескомпромиссный гуманизм. Силач, кутила, жизнелюбец — это, очевидно, было лишь полправды (вспомним слова Толстого о «Поединке»: «Куприн в слабого Ромашова вложил свои чувства»). Ее дополняет обостренная жалость к людям, давшая такие поразительные страницы, как встреча Ромашова с затравленным и больным солдатом Хлебниковым, ищущим смерти на железнодорожных путях. Кастовые офицерские предрассудки, вбивавшиеся Ромашову и в кадетском корпусе, и в юнкерском училище, падают в мгновение ока, когда подпоручик, мучимый виной и ответственностью за человеческую жизнь, изуродованную на его глазах, обращается к Хлебникову со словами: «Брат мой...»

И тот же купринский гуманизм ярко окрашивает все произведения в детях («Белый пудель», «Слон», «Храбрые беглецы» и т. д.), выступает могучим, живительным началом всего творчества писателя. Он ощущается в произведениях о цирке («Allez!», «В цирке», «Ольга Сур»), поднимает на протест «маленького человека» («Гамбринус»). Он учит видеть в человеке человека, продолжая тем самым высокую традицию русского реализма XIX века, традицию Л. Толстого и Чехова.

Добрый талант Куприна постоянно напоминает об этой главной обязанности искусства, подчиняя ей все свои средства выражения. В пору, когда уже входил в силу равнодушный к человеку модернизм, Куприн мог показаться слишком традиционным и старомодным. Литературные недруги дали ему глумливое прозвище «зрячий крот». В критике символистской его третируют расхожим определением «бытовик». Куприн сердился:

«Старый быт. Быт, проклятый критиками... Но почему же в этом быте, в неизменной повторяемости событий, в повседневном обиходе, в однообразной привычности слов, движений, поговорок, песен, обрядов — почему в них жила и живет для меня неизъяснимая прелесть, утверждающая крепче всего и мое бытие в обыденной жизни?» Сердечность его была справедливой. Таланта у Куприна хватало на всех его литературных обидчиков. Исключительное духовное здоровье, вкус к быту, языку, верность классическим заветам отмечали его дарование.

Подобно большинству своих современников, писателей-реалистов XX века, Куприн явился мастером «малых форм» прозы — рассказа, короткой повести, оставив нам классические образцы этих жанров. Исключение — обширная повесть «Яма» — при всей ее социально-художественной силе в изображении «белых рабынь», мира проституции, явно страдает рыхлостью и журналистской очерковостью.

Особенности художественной манеры Куприна, основные мотивы его творчества, характерные для него человеческие типы — все это повторилось и в произведениях, созданных на ущербе жизни, в эмиграции. Но повторилось, затухая и дробясь, в несколько измельченном виде...

Летом 1920 года писатель оказывается в Париже. Лишь с 1927 года, когда выходит сборник Куприна «Новые повести и рассказы», можно говорить о последней полосе его относительно напряженного художественного творчества. Вслед за этим сборником появляются книги «Купол св. Исаакия Далматского» (1928), «Елань» (1929), «Колесо времени» (1930), «Жанета» (1933). С 1928 года Куприн печатает главы из автобиографического романа «Юнкера», вышедшего отдельным изданием в 1933 году.

Прежние темы вновь звучат в его прозе. Новеллы «Ольга Сур», «Дурной каламбур», «Блондель» как бы завершают линию прославления простых и благородных людей — борцов, клоунов, дрессировщиков, акробатов. Вслед знаменитым «Листригонам» пишет он рассказ «Светлана», вновь воскрешающий колоритную фигуру балаклавского рыбацкого атамана Коли Констанди. Куприн — великолепный рассказчик по естественности манеры и гибкости интонаций. Он охотно обращается к историческим анекдотам и преданиям, берет готовую канву, расцвечивая ее россыпями своего богатого языка. Так рождаются новеллы «Тень Наполеона», «Царев гость из Наровчата», «Геро, Леандр и пастух». Прославлению «великого дара любви», чистого, бескорыстного чувства (что было лейтмотивом множества прежних произведений писателя) посвящена повесть «Колесо времени».

Однако Куприн постоянно чувствует себя заключенным в некий магический круг мелкотемья. Вновь и вновь, с «неописуемой сладкой, горьковатой и нежной грустью» писатель мысленно возвращается к своей родине. Этим чувством безудержной, хронической ностальгии пронизано последнее крупное произведение Куприна — повесть «Жанета».

До конца своих дней Куприн остался русским патриотом, которому бесконечная любовь к России помогла побороть все колебания и сомнения и вернуться на родину. Вне России он не мог ни жить, ни писать. «Писал в Париже Тургенев, — жаловался он друзьям. — Мог писать вне России. Но был он вполне европейский человек, и было у него душевное спокойствие. Горький и Бунин писали на Капри прекрасные рассказы. Бунин там написал свою “Деревню”. Но ведь у них было тогда чувство, что где-то, далеко, у них есть свой дом, куда можно вернуться, припасть к родной земле, набраться от нее сил... А ведь сейчас у нас чувства этого нет и не может быть: скрылись мы от дождя огненного, жизнь свою спасая».

В Париже, на Северном вокзале, перед тем как сесть в московский поезд, Куприн сказал:

— Я готов идти в Москву пешком...

31 мая 1937 года столица встретила старого писателя. Окруженный заботой и вниманием, Куприн живет сперва под Москвой, в Голицыне, а затем в Ленинграде. Тяжелая болезнь помешала ему возобновить творческую работу. 25 августа 1938 года Куприн скончался.